

РАССКАЗЫ
СОВЕТСКИХ
ЛЮДЕЙ



Виктор Астафьев

ДИКИЙ ЛУК

РАССКАЗЫ О СОВЕТСКИХ ЛЮДЯХ

Виктор Астафьев

ДИКИЙ ЛУК

Пермское
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1 9 6 1

В доме отдыха Генка Гушин познакомился с Катей. Об-раз её глубоко запал Генке в душу. Он много и горячо писал Кате, и однажды она решила съездить к нему на Север. О встречах Кати с Генкой, о Генкином характере, его цельности и необузданности, о множестве его недостатков, иные из которых оборачиваются порою достоинствами, о чистоте души этого внешне грубого человека, раскрытой для самых светлых чувств, о том, как сложатся отношения между молодыми людьми, повествует рассказ.

Автор рассказа Виктор Петрович Астафьев родился в 1924 году в Сибири. Детство и юность его прошли в деревне и в заполярном порту Игарке. Окончив ФЗО, он работал составителем поездов. Осенью 1942 года ушёл добровольно на фронт, сражался до конца войны. После демобилизации был рабочим ряда предприятий гор. Чусового, затем несколько лет литработником газеты «Чусовской рабочий». Писать начал с 1951 года. Его рассказы и повести печатались в пермских газетах, в альманахе «Прикамье», журналах «Урал», «Знамя», «Молодая гвардия» и в разных сборниках. В Пермском книжном издательстве вышли сборник его рассказов «До будущей весны» (1953), книжки для детей «Васюткино озеро», «Огоньки», «Дядя Кузя, куры, лиса и кот», роман «Тают снега» (1958), сборник повестей и рассказов «Стародуб» (1960). В издании Детгиза (Москва) вышел в 1958 году сборник рассказов для детей «Тёплый дождь», в Свердловском книжном издательстве в 1959 году — повесть «Перевал».

Генка до того растерялся, приняв телеграмму от почтальонки, что расписался не в той графе, где следовало. Телеграмм на своё имя он ещё никогда не получал, хотя ему и перевалило уже за двадцать пять.

„Еду командировку можешь встретить—Катя“ прочитал он в телеграмме и не сразу понял, что к чему, а когда понял, заорал:

— Мам, а мам! Катюха едет!

Мать Аграфена Семёновна выбежала на крыльцо, испуганно огляделась и хлопнула себя по бёдрам:

— Ты чего орёшь на весь город? Я уж думала, беда какая стряслась.

— Катюха едет, мам! Знакомая моя. В командировку едет. Скромная девка. Видишь, пишет: «Можешь встретить», а другая бы написала — встречай — и всё!

— Она у нас остановится, что ли? — спокойно, с оттенком насмешки спросила Аграфена Семёновна.

— Ну да, а где же ещё? Не в гостинице же ей тратиться, — ответил Генка и, обнаружив, что мать смотрит на него не то насмешливо, не то осуждающе, немного смутился: — Да ты не подумай чего. Девка она законная. Мы с ней в доме отдыха познакомились.

— Да я что ж, я ничего. Ты и сам уже с усам, — успокоила сына Аграфена Семёновна.

Генка увидел Катю издали, помахал ей рукой, сиганул на ещё не пришвартованный паром, протолкался к девушке, обнял Катю так, что у неё хрустнула шея и поцеловал при всём народе.

Она не успела возмутиться или хотя бы удивиться, потому что Генка тут же сгрёб её чемодан и прежним манером, не дожидаясь, когда выкинут трап, перепрыгнул на дебаркадер и перетащил девушку.

Когда вышли с дебаркадера, он широко размахнулся рукой:

— Во! Гляди, Игарка! Про неё, может, стихов больше написано, чем про другой город областного масштаба! — И даже попытался прочесть стихи:

Игарка, Игарка — ты город полярный,
На севере вырос, среди холодов...

Но дальше Генка стихов не помнил и пощёлкал от досады пальцами, будто ловил ускользнувшие строки.

— А, чёрт, забыл. Стихи-то законные, но забыл!

Генка тут же бросил мучиться со стихами и показал на здание, к которому вела длинная лестница с перилами:

— Во, речной вокзал. Здесь авиагидропорт был, а теперь всё это на острове. Там, видишь, мыс, — выкинул он руку в направлении устья протоки. Это называется Выделенная. Интересное название? Всё просто. Огородили это место и нефтебазу сделали, и никого не пускают. Палят в случае чего. Выделили место, понимаешь? Тут, Катюха, есть такие названия — умо-ра. Вот, к примеру, магазин называется — Крыса. Почему Крыса? Потому что в этом магазине раньше пушнину принимали. Есть ещё магазин комендатурский. Есть ещё... А знаешь, у нас тут все хорошие помещения горят. Было два драмтеатра — сгорели. Был кинотеатр «Октябрь» — сгорел. Дотла. На его месте смородину посадили. Шито-крыто. Теперь Дворец культуры строят, в старом городе. Первое каменное здание в Игарке. Чуешь? Не сгорит каменный-то. А так всё горит! Только горсовет ни разу не сгорел. Даже пожарка сгорела в тридцать девятом году. Ага. Вместе с каланчой. Исторический город.

— Обрати внимание, — Генка остановился возле столовой и магазина, на широкой деревянной мостовой, указывая критическим жестом на скамейки, у которых стояли ящики с песком и было объявлено по-русски и по-английски, что это место для курения. А рядом, конечно, дощечка, на которой чёрным по белому изображена кругленькая сумма — штраф, и хотя насчёт штрафа написано только по-русски, на иностранцев эта дощечка всё равно действовала сильнее, чем на наших. Откуда иностранцам знать, что у нас везде и всюду ужасно любят грозиться штрафами. И дозволено это делать всем, кто грамоту имеет, а потому эти вывески давным-давно утра-

тили всякий авторитет и никто на них внимания не обращает.

— Перестраховка! — заявил Генка. — Иностранцам только пища: «Так и так, в Советском Союзе курить не дают — притеснение». Лучше бы город от опилок и щепья очистили. А вообще, Катюха, я тебе потом ещё всё покажу, и ты увидишь, что город наш всё равно законный. Тут улица Шмидта есть. Да. Потому что Шмидт приезжал. Я-то не помню. Вовсе мал был. Ещё улица Челюскинцев есть. Может, и челюскинцы приезжали, да я этого не знаю.

Жил Генка с матерью, в большом доме, над Медвежьим логом. Ещё из ограды он закричал:

— Мам, гляди, я Катюху привёл! Приехала! Я думал — обманет.

Мать, вытирая руки передником, осадила Генку:

— Приехала и приехала, чего же колоколовать-то?

— Радуюсь, мам, Катюха приехала! Во! Хорошая девка, а? — при этом Генка похлопал Катю по спине и подтолкнул к матери.

Катя поздоровалась с Аграфеной Семёновной, хотела что-нибудь сказать, и не успела. Генка подцепил её под руку, и они очутились в избе.

— Мам! — на ходу руководил Генка, — ты рыбу жарь, стерлядку, а я мигом за поллитровкой.

— Господи! Да уймись ты, уймись, оглашенный! И рыба уже готова, и поллитровка в шкапике.

— Вот это мать! Это настоящая мать! Я только подумал, а она — уж готово дело! — Наговаривая так, Генка тащил Катю по избе и показывал подряд всё. — Вот, гляди, — ткнул он пальцем на

подоконник, где в горшках силились бороться с северными невзгодами унылые помидоры, — свои растим, — и начал сокрушаться: — Не поспели ещё. Я говорю матери — укол им надо сделать, со спиртягой — люди сказывают, как сделаешь укол по науке — помидор мигом покраснеет...

— Иди ты с такой наукой, — отозвалась из кухни мать. — Сроду не ела пьяных-то помидор и не буду.

— Отсталая, — махнул рукой Генка в сторону кухни. — Хорошая мать, но отсталая. Она, знаешь, раньше какая была? Во! — раскинул Генка руки. — А теперь только остожье осталось. С горя. Отца на войне убили, брата убили, а ещё одного в печке сожгли, живьём. Вот они все на портретах. Это я отдавал увеличить.

Ни Катя, ни мать так и не успели обмолвиться ни словом, пока Генка не уgomонился. Он уже в двенадцатом часу ушёл спать в дровяник.

Аграфена Семёновна постелила на кровати, деликатно подождала, пока Катя разденется, и подсела к ней.

— Ну вот, слава богу, и поговорить можно, унялся наш-то. — И сокрушённо покачала головой: — Только ночью да когда он на смену уйдёт, покой вижу. С самого дня рождения, как открыл рот, так вроде и не закрывал. Ей-богу. Да что со дня рождения, ещё в животе помещался, так, бывало, ка-ак пнёт, я чуть с тротуара не упаду. Вот хотите — верьте, хотите — нет, целых штанов не нашивал. Всю жизнь у него на задуга глазки. Заплаты, заплаты, милушка. Отец-покойник говорил: «Ты ему, мать, на заднее-то место донышко от ведра пришивай». Да он и железо проворачивает.

Катя, слушая Аграфену Семёновну, улыбалась и думала о том, что Генка, наверное, ещё не донёс голову до подушки, а уже уснул.

Но Генка неожиданно объявился в одних трусах и закричал:

— Мать! Где Катюхе постелила? На кровати? Правильно! Мягко ли? — Генка тащил на плече за вешалку оленью доху — сокуй и бесцеремонно начал закутывать ноги девушки: — Ты с другого климата, а тут Заполярье, вечная мерзлота. — Укутывая Катю дохой, он между прочим ущипнул её повыше колена, гыгыкнул и исчез так же стремительно, как и появился.

— Вот видали, золото какое! — проводив сына взглядом, вздохнула мать. — Налетит, как вихорь, что к чему. Ой, милушка, всё он навыверт делает. Вот выключатель высоко, а он его не рукой, а ногой достаёт и выключает. Ногой, милушка, ногой. Жениться бы ему надо, авось, усмиреет. Да ведь и то подумаю: ну, ладно, я с ним с ума схожу всю жизнь, мне уж полагается, сама такого уродила, а другой-то человек за что же маяться станет? Ведь он же заговорит, заболтает. Ему бы надо бабу такую, чтоб она его узлом закрутила, а из смирной он сам таких узлов навяжет, что и миром не развязать. — Мать ещё помялась, повздыхала и начала осторожно выведывать то, ради чего она так долго не ложилась сегодня спать: — К нам-то в город надолго?

— Месяца на два-три.

— А-а, значит, на два-три. Расходно в командировке-то, накладисто. Какое же такое долгое у нас тут дело?

— Ателье мод будет открываться. Вот я и приехала людей готовить. Мастер я.

— По модам?

— Да.

— Модницы ноне в чести, — неопределённо протянула Аграфена Семёновна. — Ну, отдохайте. На новом месте приснишь жених невесте, — добавила она с загадочной усмешкой и отправилась спать на кухню.

Катю смутили последние слова Аграфены Семёновны. Неловко было на душе. Приехала вот, поселилась у чужих людей, само собой матери Генки остаётся думать то, что она и подумала. Не спалось. Она осторожно поднялась, составила горшки с помидорами на пол и открыла окно. Прямо перед окном — как попало загороженный досками огород. В нём кустилась ещё низенькая картошка и были две грядки, на которых небойко росла морковка, репа и лук и совсем уж через силу — капустаная рассада.

«Конец июня, а картошка только-только закустилась, когда же вырастет?» — подумала Катя.

Но тут она увидела молчаливое, затуманенное солнце над гребешком леса, за Енисеем. «Ах, да! — спохватилась Катя, — свет круглые сутки. За два месяца здесь всё вырастет быстрее, чем на магистрали за четыре».

Катя улыбнулась, вспомнив, что магистралью Генка называет всё, что не относится к северу, ту благословенную землю, о которой вечно с завистью вздыхают северяне, а выедут туда — и заскучают, закручинятся, да, глядишь, продадут последние манатки и двинут обратно в свой, неприветливый с виду, заполярный край.

За городьбой Медвежий лог, в котором ещё торчали источенные короедами и муравьями пеньки. Здесь был когда-то лес, и Генка говорил, что он ещё в «молодые годы», — так он называл детские годы, — лавливал здесь силками куропа-

ток. По ту сторону лога, уходя одним концом за поворот, а другим — к причалам, стоял почерневший от времени и ветров забор лесобиржи. На бирже сплошь расселились под непромокаемыми крышами штабеля, а дальше курился белым дымом выводок узкотелых труб.

В одном месте забор упал, в лог вывалились доски, обрезки, чурбаки, опилки. Никто их не подбирал. Дров у игарчан полно. Иные дома и не видать из-за поленниц.

Ночь никак не наступала. Сон не шёл. Сидела Катя в светлой, ночной тишине и думала о себе, о Генке, к которому вот взяла и заехала. Сейчас даже самой странно. Надо будет перейти в гостиницу, а то Аграфена Семёновна и в самом деле примет её невесть за кого, вертихвосткой посчитает. Откуда ей знать, как росла Катя и как она училась да мастером стала. Была она у матери и отца единственной дочерью. Отец её всю жизнь проработал сапожником, вначале в какой-то частной мастерской, а потом на фабрике, в цехе раскроя. Мать в войну года три работала на оборонном заводе, а потом тяжело заболела и по сей день лежит в постели с отнявшимися ногами. Все домашние заботы легли на Катю, и она бросила школу. И так бы они и жили, уединённо, со своими невесёлыми хлопотами. Но отец ушёл на пенсию, и денег семье не стало хватать. Катя поступила ученицей в швейную мастерскую. Она долго пришивала пуговицы. Так с пуговиц и началась её трудовая жизнь. Очень хорошие оказались девочки в бригаде. Они подучили её, и она стала пришивать пояса к пальто, потом воротники, потом рукава, и так пошло и пошло. Девочки же помогли ей в техникум поступить, на заочное отделение.

Так она стала мастером, и теперь её посылают во все вновь открывающиеся мастерские и ателье учить людей. Если бы не девочки, если бы не люди, что было бы с ней? Она, наверное, до сих пор пришивала бы пуговицы и ходила бы с пораненными до костей пальцами. И свет не повидала бы. А то вот в доме отдыха побывала и в край незакатного солнца приехала. Отец, правда, не хотел отпускать её, в сомненье впал, но мать сказала:

— Не перечь, отец, ей работа ответственная дадена, да и не вековать же ей с нами.

И отец сдался. И вот она, Катя, в Заполярье, в гостях у Генки, видит светлую ночь, город, воспетый в стихах, и траву пушицу, нигде не воспетую. Вон её сколько! Сплюшь усеяла Медвежий лог махонькими облачками. Травка эта вроде длинной сапожной иглы, бледно-зелёная и пустая в середине. Стоит, стоит она, незаметная, тощенькая, и вдруг выстрелит пушком, и пушок болтается на её острие до тех пор, пока ветер не оторвёт его и не унесёт туда, где он прорастёт иглками.

Долго смотрела Катя на пушицу, на голубичник и на карликовые берёзки, ещё на вытоптанные скотом подле огородов. Было всё так же светло, и всё так же неназойливо, осторожно светило солнце. Будто и ему было известно, что по человеческим законам сейчас всё-таки ночь и людям полагается спать.

В городе и впрямь тихо и спокойно. Только покрикивали на протоке пароходы да глухо шумел лесозавод. А потом по Медвежьему логу, крадучись, пополз туман и на острове тоже появились пятна тумана. Там озёра, и они тумани-

лись по утрам, как им и полагалось. Сделалось прохладно. Катя закрыла окно, поставила на подоконник горшки с зелёными помидорами и юркнула в постель. Перед ней замелькала пушица. Мягкая, шелковистая пушица.

Проснулась Катя поздно, и первое, что ей бросилось в глаза, это записка, прицепленная рыболовным крючком к её платью.

«Катюха! — писал Генка. — Приходи на морпричалы, поглядеть на иностранцев. На причалах законно, не покаеся».

Катя позавтракала и отправилась на причалы, к которым швартовались морские пароходы. Дежурному в проходной было уже известно, что придёт такая-то и такая-то, и ей беспрепятственно выдали пропуск.

Генка работал на погрузке кокетливо раскрашенного греческого парохода. Он ещё издали заметил Катю, махнул ей рукавицей и закричал:

— Ребята! Катюха пришла, знакомая моя, почти что невеста! — И тут же хлопнул по пачке досок, спускавшейся на тросах лебёдкой в люк. — Катюха, ты видишь законное содружество коммунизма с капитализмом. Из этих досок капиталист какой-нибудь кресло соорудит, будет сидеть и думать, когда придёт Советская власть — с дому его выгонит. Или пушку сделает и по нам стрельнёт...

— Ну уж, из дерева и пушку, — возразила Катя, заглядывая вверх.

— А что? Из нашей древесины всё можно сделать. Запросто! Ты лезь сюда, Катюха. Скоро обед. Мы к одному норвегу кофий пить пойдём. Знакомый. Третью Карскую¹ в Игарку приходит. Здорово кофий делает, собака!

¹ Карская — так называют в Игарке навигационный период.

Об этом «норвеге» и «кофии» Генка ещё вчера не раз начинал рассказывать, да всё не мог рассказать.

Что уж за такой за «кофий» готовил иностранец, одному богу известно, а только поглянул он Генке до крайности. Купил однажды Генка самого дорогого кофе, сахару, молока, приволок всё это домой и дал команду:

— Мама, орудуй! Я тебе буду говорить, а ты орудуй. Я высмотрел, как он всё делает.

Генка руководил, мать заваривала, но кофе получился не такой наваристый и ароматный, как у иностранца.

— Нет, по кофию нам их ещё долго не догнать, — сокрушался Генка. — Тут у них, Катюха, норма своя и секрет. А разом у буржуя разве секрет выпытаешь? Слушай, Катюха, ты, может, сумеешь? Всё-таки глаз у тебя женский. Давай, а? Ты ему про норвегов больше говори, ну, про знаменитых. Он и расплывётся. Я как скажу ему: «Амундсен — во! Нансен — во!», он аж икру от радости мечет. Да я вот только двух этих и слышал. Может, ещё есть знаменитые норвеги?

— Есть. Григ, например.

— Кто такой? Не фашист?

Катя захохотала.

— Да нет, композитор. Давно жил.

— Композитора давай. Композитор подойдёт. А ещё нет ли?

— Ну, Ибсен — драматург.

Генка замаялся, почему-то намекнул, что лучше про драматурга не поминать, и со вздохом повторил: — Да-а, по кофию мы их не скоро догоним. Зато по табаку догнали. Знаешь, мы здесь в порту, когда маленькие были, дни и ночи околачивались. Ага. Сигареты просили. Бегаем, как

щенята, за иностранцами и твякаем: «Комрад, сигарет; комрад, сигарет». Ну, которые давали, которые — нет. Ребята всё больше на перехвате были, там, на улице стреляли, — махнул рукой Генка на город. — А я, понимаешь, на пароход заберусь и представлюсь. У меня зубы лаптой вышиблены; вот, — показал Генка рукавицей на два вставных зуба. — Ну я и коверкаю слова. Они хохочут и сагарет дают. Полную горсть настреляю, бывало. И, понимаешь, обидно всё ребятам отдавать, ну я и сам засмолю. Я через них, через этих буржуев сколько здоровья потратил — ужась! А что? Девяти лет курить начал. Сказывается, поди, на детском-то организме?

Катя покосилась на приземистого, плотного Генку, у которого грудь выпирала из тельняшки, а мускулы так и ходили, комками перекатываясь, и сказала, что не очень-то заметно, чтоб ему буржуи здоровье подорвали.

— Не заметно? Тогда хорошо. А то из-за каких-то сигарет паршивых веку бы не дожил. И чем брали-то? Завёртками да коробочками. Ну, наши всё это научились делать, и теперь у них сигареты никто не просит. А то ведь фотографировали. Да, для своих газеток. Вот, дескать, советские дети попрошайничают. Меня тоже пытались фотографировать. Я говорю: «Пожалуста, гуд бай!» А как они на меня аппарат наставят, я скосоротюсь и такую рожу сделаю, что ни на какую карточку не годится. — Тут Генка остановился и схватил Катю за руку: — Слушай, Катюха! Ты не думай, что я к норвегу тебя за так веду. Я его тоже угощал. Ухой. Из налима. В прошлом годе. Думаю: ты меня кофеем, так я тебя ухой доконаю...

— Ген, Ген, — перебила Катя Генку. — Кофе.

Понимаешь — кофе. И не норвег, а норвежец.

— Ладно, пусть норвежец, — подхватил Генка. — Всё одно буржуй. Ну вот, в гости я его зазвал. Уху сварил. Сам варил. Рыбацкую. Будь здоров уха получилась! Поели мы с ним, выпили. Раздобрел он, вроде как бы малохольный сделался. Плясать под радиолу ударился. Ну, думаю, сейчас самый момент, и давай я его агитировать: «Переходи, говорю, на нашу сторону». Ну не в смысле границы, а чтоб он за трудящийся народ стоял до скончания. Но он ничего этого не понял. Язык-то ихний я не знаю, а он нашего тоже не знает. А то бы я из него сторонника мира сделал. Запросто!

— После того разговора с норвегом, ну, с норвежцем, решил я учить ихний язык. Книжек набрал. Долблю. Двадцать слов выучил. Через три дня забыл. Опять выучил. Опять забыл. Я к переводчику нашему. Так и так, хочу, мол, по-иностранному научиться. Он мне толкует: «Надо, Генка, систематически, каждый день, заниматься». Тут я и понял, что не по мне это дело, и бросил. Мне бы, понимаешь, такой язык, чтоб его сразу выучить. Привет передовикам коммунизма! — заорал Генка, проходя с Катей мимо старого английского парохода с визгливыми лебёдками и неряшливыми поперечными полосами по бортам. — Комбригада здесь работает, Кости Путинцева, — пояснил он Кате. — Я в ней раньше тоже работал. Не подошёл. По номенклатуре не подошёл. Вижу, понимаешь, мнутся мои ребятки. А чего мнутся — не пойму. Потом услышал, что они бригаду сколачивают, которая, значит, будет за коммунизм бороться. Так бы сразу, говорю, и сказали: «Мы, Генка, такое дело затеваем, при котором ты будешь компрометирую-

щей единицей». Я, говорю, и в другой бригаде не пропаду. А для вас — я и сам знаю, что не подходящий. Ишачить я — пожалуйста. Пить тоже могу бросить, не больно много пью. Курить даже могу бросить, если надо, а учиться не пойду. Чтоб я в таком возрасте пошёл в четвёртый класс — этого не будет! Ну и рассортировались. А что? Неужто мне учиться сейчас? Я шесть лет учился — четыре класса кончил. Так через это учительница на четыре года раньше на пенсию пойдёт. Зачем вред учителям делать? Я их уважаю. Но прижима никакого не люблю. За всю жизнь только в одной организации состоял. В пионерах. Выгнали. А в комсомол уж и не приглашали. Я тоже не просился... — У-у, аденауровец проклятый! — покосился Генка на большой, толстобрюхий пароход с западногерманским флагом. — Я бы им камней и то пожалел. А тут нашу древесину. У баб вон руки в кровь — и для кого? Не понимаю я такой политики. Заедаются только. Обзывают нас всяко. И обзывают-то как? Выучили два-три слова, какие у нас ребятишки на подступах к настоящему матюку употребляют, и этими детскими словами пуляют. Слова — что, словами можешь. Но ты не лезь под руку, гад! Работать не мешай, не делай международный конфликт...

Катя уже заметила — раз Генка расшумелся, начал рубить рукой, значит, тут дело касалось его, и осторожно спросила, что это за конфликт такой был.

— Не знаешь? Я тут одного аденаурца учил трудовой народ уважать.

У Кати даже спина похолодела, когда она это услышала.

Грузила бригада стивидоров прошлым летом

западногерманский лесовоз на рейде. Лесовоз был хороший, лебёдки исправные, и всё было ладно. Шли с перевыполнением плана. На заносчивость команды грузчики уже привыкли не обращать внимания.

Но на этом лесовозе команда оказалась уж очень едучая. Вахтенные матросы тем только и развлекались, что, свесившись через борт, плевали на баржу, норовя попасть в грузчиков, кричали обидные слова и даже показывали язык, как дети.

У причалов властей много, и они быстро призвали бы к порядку этих граждан, но на рейде совсем другое дело. Тут вся власть — дежурный пограничник. Он, бедняга, стоит на корме баржи с ружьём, видит всё мелкое издевательство над своими рабочими — и по лицу его желваки от бессилия ходят. Хоть он и с ружьём, а всё равно что безоружный, ибо нарушений-то в международном масштабе никаких нет, а так, плевки одни.

Видя такую выдержанность рабочих, немцы вовсе обнаглели. В особенности один из штурманов. Он даже на баржу по стремянке стал спускаться и приставать к грузчикам. А они отстранят его рукой или доской нечаянно пихнут, и всё это молчком, с полным презрением.

Но однажды этот штурман явился на баржу пьяный, а может, и представился пьяненьким, и уж куражился он, куражился. Несколько раз пограничник вежливо просил его подняться на корабль, но он не подчинялся власти. Почему-то прилип этот немец, как банный лист к Генке. Здоровяк Генка, в руках у него все горит. «О-о, — кричит, — гут арбайтер!» А сам волком на Генку

смотрит, ну и Генка на него тоже соответственно смотрит.

По взгляду оба готовы съесть один другого сырьём, а нельзя. Генка так и рассказывал Кате:

— Гляжу на него — облизьяна, форменная облизьяна. Глаза возле ушей, а между глаз точь-в-точь две говядины висят. И вот так меня и подмывает закатать в эти говядины. А я терплю. Работой только и дразню его, и зло срываю. От лебёдки дым идёт.

И стерпел бы, наверное, Генка всякие надругательства немца, да тот уж совсем распоясался и давай изображать, как он во время войны таких, как Генка, на штык подымал и через себя бросал. Прямо так и показывает: поддеваю, мол, и бросаю. И зубы ощеряет при этом.

Тут пограничник не вытерпел и что-то сказал тому недобитку по-немецки. Один стивидор немного знал немецкий язык и сразу перевёл:

— Что ж ты так ловко швырял наших, а сам за Эльбой очутился?

Немец взбеленился. Начал орать, руками размахивать, а работяга тот с пятого на десятое переводил. В общем, грозился немец выйти из-за Эльбы и свести с нами счёты. Пограничник замкнулся и снова на корму ушёл, чтоб уж больше не прорвало его. А Генка понял, что у пограничника тоже край нервов наступил, потихоньку к нему с просьбой:

— Товарищ пограничник, корешок родной, разреши эту подлюгу укоротить. Терпежу нет. Разреши?

Пограничник подумал, подумал и сказал:

— Вали, только не сильно.

— Пор-ря-док! — заликовал Генка. — Понимаю, всё понимаю. Я его вежливенько, вежливенько.

Ушёл Генка на нос баржи, за доски. Немец — туда же, за ним увязался. Глянул Генка по сторонам — никого. Цап немца и посадил его на палубу, как на горшок.

— Тяжёлый, спасу нет, — рассказывал Генка Кате. — У него одна задница в наш автобус не войдёт. И как я его поднял — не знаю. Это уж я про отца и братанов вспомнил, потому и поднял. Эх, как он стрельнул с баржи. Где и прыть взялась. Работяги свистят ему вслед. Ну, думаю, пропал я. Работаю. Жду. И пограничник переживает. Проходит час, другой, ни гу-гу на корабле. Мы работаем. Немцы не плюются. Вижу, начальник вахты ихней на баржу спускается. Всё, думаю, сейчас меня арестуют. Прошёл этот начальник мимо нас, никого не заметил, и прямо к пограничнику. Что-то протявкал и назад. Мы к пограничнику — узнать, что и как. Смеётся пограничник. Извиняться, говорит, приходил. Человек, говорит, допустивший нарушение, наказан: до конца погрузки выход на берег ему запрещён. Рад пограничник, и мы рады. И тут я понял, как надо обращаться с этими врагами. Вежливостью их не проймёшь. — Генка помолчал, потёр нос рукавицей, ловко цыркнул слюну сквозь зубы, аж на край причалов, и угрюмо закончил: — Ну, а меня всё-таки вызывали в одно место. Беседовали: «Так и так, товарищ Гущин. Ты нам международные конфликты не устраивай». Слово дал. Терплю. Только неправильно всё это. Ну, да ладно. Пока там соль да дело, я одного аденаурца уже обезвредил. Я приёмчик знаю. Вербованный научил. Сразу-то он ничего не почувствует, но в

случае войны годен только будет в обоз. В общем, как это Тёркин-то говорил? «Жилец, но уж не отец».

Доканчивал этот рассказ Генка уже после смены, когда они с Катей вышли на высокий берег протоки. Возле устья протоки сжатым кулаком высунулся в Енисей каменный мыс и замкнул протоку от ветров и бурь. За стрелкой острова и за этим мысом медленно, разморённо уходила вдаль река.

Тих и задумчив заполярный Енисей в безветрие. Неукротимо свиреп в северный навальный ветер, от которого губельно прибывает вода и кудлатятся, жмутся к земле сухопарые лиственницы, редколапые кедры, болезненные берёзки.

От северного ветра наволочная сторона — это низкая сторона — вся в длинных ступенях. В высокую вешнюю воду подбивало волнами берег. В межень оголились пески, и волны уже не достигали ступеней. Они долго и тонко расстилались узорами по песку, перекатывая гальку, подшибая куликов, плишек и чаек, которые тут и паслись, ожидая, когда волна вынесет ерша, голяна или другую какую рыбёшку — раззяву.

По берегу наволочной стороны, по этим ступеням бушует разнотравье, а на другой, на каменной темнолесой стороне валами лежит камешник, образуя мысы. Растёт редкий березник, на котором чёрного больше, чем белого. С крутых яров, прошитых корнями, упали лиственницы, ольхи, некоторые из них даже в таком положении взялись зеленью. Живуча, хотя и худосочна растительность в Заполярье.

Неприветлива каменная сторона.

Зато не нарадуется глаз, когда глянешь на

наволочную! От самых песков, до такого блеска промытых, что на них смотреть больно, начинается трава, сначала мелкая, редкая, а потом выше, гуще, и дальше кустарники, да такие, что кулак не просунешь.

По наволочному берегу растёт дикий лук. И не какой-нибудь хиленький лучишко, что выклёвывается на каменных бычках в верховьях Енисея, а как огородный батун, и бывает его столько — хоть литовкой коси.

До войны, когда огороды в Игарке были только опытные, сильно выручались этим луком жители Заполярья, а ныне настоящий, огородный лук растёт в Игарке, да и завозят его отовсюду.

Но по старой привычке некоторые игарчане ещё заготавливают дикий лук, режут его и солят в бочках. Зима-прибериha, а зима здесь долгая, и солёный лук иной раз в охотку с картошкой идёт за наипервейшую еду.

— Дня через три у меня выходной, и мы с тобой поплывём за луком во-он туда, — показывал Генка на мыс. — Там, верстах в пяти, у меня паромчик стоит. Проверим. Стерлядочек возьмём, а может, и осетра, на твоё счастье. А что? Ты — девка фартовая! — И Генка попытался обнять Катю.

— Геннадий, — сказала она, — если так вести себя будешь, я никуда с тобой не поеду. Когда человек блудит словами — это ещё куда ни шло, но руками...

Генка смутился, заморгал, поцарапал затылок и даже поутих на время.

И вот они в лодке. Тарахтит моторишко, волна от лодки на стороны раскидывается. Одна в берег ударяется, а другая катится к другому, но,

даже середины реки не достигнув, изнемогает, успокаивается.

Ветерок перебирает Генкины рассыпчатые волосы, бросает на глаза, на лицо с прикипевшим обветрием. Удивительно живые у Генки глаза, как крупные недозрелые смородины они, даже прожилки есть коричневые. Глядеть в такие глаза и то радостно. Столько там светится жизни, весёлости, любопытства. Катя ещё ни у кого не видела таких, через край переполненных жизнью, глаз. А Генка лениво рулит, и нет ему вроде бы ни до чего дела. Он непривычно тих и задумчив. Катя только сейчас и разглядела его как следует.

Она лежала на мешках с диким луком, пахнущим ледком, студёным ветром и ещё чем-то. От мешков холодило. И хотя во рту уже было горько от лука, Катя выдернула из мешка стебелёк, принялась лениво жевать. Уродится же такая штука в краю, где всё гнётся, ложится на землю от холодного ветра. Лук же растёт себе, корнями широкими и работающими подбирая комочки почвы и оберегая эти комочки от ветров и волны. Он даже цветёт, этот лук. Берег плещет сиреневой радостью, когда раскроются мохнатые, похожие на шмелей, шишечки лука. Они подолгу не засыхают и не осыпаются. Но там, где осыплется шишечка, на следующий год непременно прорастёт хоть одно зерно, прорастёт стеблем, даже не стеблем, а целым пучком стеблей.

Под мешками доски, а под досками немного воды, и в этой воде шлёпаются, скребутся острыми гребешками стерляди и костерьки. Осетр не попался.

— Не фартовая ты, — сказал Генка, просмотревши две сети, связанные вместе и потому названные паромом.

Паром этот Генка ставил без наплава — пришлось искать его кошкой. Искал долго. Ругался. Рыбнадзор ругал, который свирепствует и принуждает «трудовой народ» ловить рыбу тайком.

Катя вспомнила, как Генка ругался, ругался и вдруг опамятовался, вспомнил, что он не один в лодке, глянул на девушку, плюнул и так вот, вроде бы смущённый или сердитый, и сидит до сих пор. Катя улыбнулась.

— Чего лыбишься? — буркнул Генка.

— Да так, — пожала плечами Катя. — Вспомнила, как мы познакомились.

— А-а, пужанул я вас тогда.

Было это прошлой зимой, в доме отдыха, близ Красноярска. Сидела как-то Катя с подругами в сосновом бору на скамейке. Подошёл к ним парень в каракулевой шапке набекрень, в полупальто нараспашку, без обиняков предложил: «Давайте знакомиться!» — и сунул руку той девушке, что сидела с краю: «Гущин — стивидор!»

Насладившись произведённым эффектом, Генка хохотнул и разъяснил:

— Это значит грузчик.

Этот самый Гущин-стивидор начинал говорить, как только просыпался, и кончал говорить, когда засыпал. Впрочем, и во сне он что-то бормотал и вертелся в постели так, что одеяло и подушка к утру оказывались на полу.

Поначалу он дружил со всеми девушками подряд и всех заговорил до смерти. Катя была из семьи молчунов и не особенно терпела людей болтливых. А Генка, мало того, что много болтал, так проглатывал половину слов или произносил их на свой лад. Он говорил: «одеюсь» вместо одеваюсь, «лопоть» вместо одежда, «борони бог» вместо оборони бог и так далее.

Катя несколько раз обрывала Генку и поправляла. Он не обижался, раза три-четыре произносил слова, как ему велели, а потом опять шпарил по-своему.

Кате казалось даже, что Генка поддразнивает её этим, вызывает на разговор и что ему нравится, когда она сердится на него. К её удивлению, так оно и было. Однажды, месяца два спустя после дома отдыха, она неожиданно получила от Генки письмо, в котором были шутки, вроде такой: «Привет от старых щиблет» и неуклюжие намёки на то, что он, Генка Гушин, помнит о ней. Заканчивалось письмо чуть лирической, но в то же время требовательной припиской: «Жду ответа, как соловей лета».

Катя подумала, подумала и ответила. И пошло дело. Генка то месяцами не присылал ни строчки, то гвоздил каждый день письма на чём попало, вплоть до рабочих нарядов.

Так что, пока Катя решилась послать ему телеграмму, она уже знала о нём вроде бы всё вдоль и поперёк.

Тарахтел моторишко. Бежала лодка. Катя думала о Генке. Открытый он парень, весь нараспашку, и всё-таки каждый день в нём является Кате что-нибудь новое. Ловок Генка, стремителен, говорлив, а работник какой, а стрелок! Особенно стрелок. Велел давеча Кате положить в беретку камень и подбросить. Она подбросила — и он изрешетил её дробью впрах и сказал, что вот так надо стрелять, без прёмаха, пригодится, если начнётся война. Свою мать он уж до того напугал этими тренировками, что она и места найти себе не может. Один ведь он остался. И непутёвый он, блажной, переживания из-за него сплошные. Но один он, один. Вся жизнь в нём. Иной раз ночью

подкрадётся к его кровати, пощупает — здесь ли? Цел ли? Генка проснётся, испугается её взгляда:

— Ты чего, мама?

— Да вот про войну вчера опять говорили по радио. А ну, как грянет? Пропадёшь ведь ты, сорви ты голова-а. — И вот уже слёзы у матери в горле бьются. А Генка — нет чтобы успокоить мать, спать её отправить, начинает планы развивать.

— Я, мам, в случае чего, в разведку пойду, чтобы их ножом колоть. Либо в снайперы налажу. Как шлёпну вражину, так и зарубку на приклад поставлю, чтобы знал я — ухлопал их столько-то и столько-то, а не вообще там воевал, может, убил, а может, нет. Мне надо точно — за отца, за тебя, за братанов и за себя. И тогда уж я посмотрю — пропадать мне или нет.

Развивая такие планы, Генка до того доводил мать, что она пускалась по магазинам, закупала мыло, спички и табак.

— Ты куда это, мам, столько добра запасла? — хмыкал Генка.

— Война ударит, опять постираться нечем будет, а табачишко тебе на дорогу.

Генка падал на кровать и хохотал, задирая ноги, а потом с полной серьёзностью толковал:

— Сейчас, мама, война вдарит уж такая, что всё разом сгорит. Как от молнии. И мыло твоё сгорит. И мы сгорим вместе с мылом. И снайперов никаких не будет. Это я так, со сна тебе наговорил.

— Чтоб ты пропал, аспид ты этакий! Я ведь весь твой аванс убухала, — ругалась мать.

— Мыло ты по соседям разнеси, а то ещё узнает кто, подумают, что мы паникёры, что со

страху и корысти запас делали,— давал распоряжения Генка. — Откуда людям знать, что ты войной ушибленная...

Озорник Генка, озорник. Никто и не подумает дать ему двадцать пять лет. Каким его помнили соседи, не раз дравшие ему уши, ещё когда в школу ходил, таким он для них и остался. А он и грустить, и думать умеет. Вон о чём-то задумался, и лицо его сразу сделалось взрослым, и эта постоянная озорника в глазах потухла.

— А ты знаешь, Катюха, рулить меня учил Славка, братан мой, — неожиданно заговорил он глухо и надолго замолчал снова, а потом как-то непривычно кротко улыбнулся: — Интересно же бывает в жизни! Вот было у меня два брата — Славка и Петро. Славка и лупил меня, и ругал, а я его не боялся. А Петро, тот женатый был, никогда меня даже пальцем не тронул, а боялся я его, спасу нет. Почему это так, а?

— Не знаю, Геня, не знаю, — в тон Генке грустно отозвалась Катя.

Генка уловил грусть и тепло в её голосе и даже то, что сказала она не Гена, а Геня. Мягко как-то у неё это получилось. И потянуло парня на откровенность:

— Я уж на бирже работал, когда Славку в печку бросили, в Мухаузене. Рабочим уж был, но ревел. Мать дома всё ревела, а я на работе, за штабелями. Мастер как-то застал. Я его доской по башке съездил.

Генка опять задумался, сомкнул губы, стиснул рукоятку руля так, что жилы напряглись на загорелой руке, испачканной зеленью лука. Кате хотелось утешить Генку, но она подумала, что он, чего доброго, и ей съездит по башке, и вместо уте-

шительных слов назидательно, как учительница, сказала:

— Сколько раз я тебе говорила: произноси правильно слова. Ты же их приспособливаешь под свой быстрый язык. Всё-то тебе некогда. Вот ты половину слова в употребление, а половину — на ветер, в отходы.

— К примеру? — покривил Генка губы.

— Ну вот, к примеру, сказал — Мухаузен, а правильно — Маутхаузен.

— А-а, — разочарованно протянул Генка и вдруг рассердился. И понёсся вскачь: — За то, что поправляешь, — спасибо. Всегда тебя послушаю, потому как ты с образованием. И масло у тебя в голове имеется. Но это слово, — Генка стиснул зубы, — это слово я всё равно не буду правильно говорить. Нехорошее слово. Там людей живьём в печку бросали, а я буду стараться? Ни в жисть!

Мотор взревел. У лодки поднялся нос, и она понеслась вдоль берега и неслась так километра два.

Вдали показался пароход. Он тянул матку. Матка — это огромный плот, брёвна на котором скатаны в несколько рядов. На плоту бывает дом, а то и два. Один с вышкой и антенной радиостанции. Когда нет парохода, матка плывёт сама. Плывёт по нижнему течению семь вёрст в неделю — и только кустики мелькают, как острят сами сплавщики.

Этот плот шёл в Дудинку, и «Эвенк» тужился изо всех сил, бурлил кормою и дымил на весь Енисей. И матка, и пароход уходили как бы в распахнутые ворота. Берега Енисея вдали не смыкались. Они, постепенно снижаясь, вытягивались в узенькие полоски и словно бы повисли в

воздухе. Енисей уходил в эти распахнутые ворота к самому краю неба, сливался с облаками в далёкой дали.

Катя так засмотрелась на паром и на Енисей, что не слышала, когда Генка снова сбавил обороты мотора и тихо позвал её, а потом пронзительно свистнул:

— Катюха!

Катя вздрогнула и уставилась на него.

Генка отвернулся, черпнул воды ладонью, попил.

— Я что хочу у тебя спросить. Вот если мне денег подкопить и за границу попроситься. Пустят или нет?

— А почему же не пустят?

Генка разом оживился:

— Ты думаешь, пустят, да? — И сбивчиво принялся пояснять: — Мать, понимаешь, всё ноет. Хоть бы, говорит, косточку какую от Славки привезти и здесь похоронить. На чужой-то стороне, говорит, и в могиле тоскливше. — Генка потупился, покатав ногой ковшичек. — Да и самому мне хочется поглядеть этот Мухаузен. И какие там люди, посмотреть, которые живьём... людей... Так пустят, говоришь?

— Я думаю, что да. Оформить документы, напишешь куда надо. С нашей фабрики вон рабочие в Болгарию и в Чехословакию ездили.

— Ездили, значит, и ничего?

— Ну, конечно, ничего. Хорошо, говорят, их принимали, как родных.

— А я ведь, Катюха, хотел ещё в позапрошлом году, ссуду решил попросить, но ребята отговаривали. И не пытайся, говорят, Генка, тебя не пустят. Туда, говорят, ездят люди с доблестью, герои труда...

— Ф-фу, глупости какие! — возмутилась Катя. — Да чем же они тебя-то забраковали? Чем? Что ты — головорез, пьяница, бандит?

— С детства так. С самой школы, — признался Генка, — считают меня типом каким-то. А я ведь ничего парень, а? — Генка дурашливо выпятил грудь.

— Ах ты Генка, Генка! — расчувствовалась Катя. — Да ты у меня просто... ну... законный парень!

Генка сначала захлопал ресницами, а потом покраснел, а покрасневши, догадался, что Катя увидела, как он покраснел, и вовсе стушевался. А стушевавшись, взял и заорал на всю реку:

Катя кофий попивала
И с Прокофием гуляла.
Катя, Катя, Катенька!
Ды отчего ж брюхатенька?
Ой, то ли от кофия,
То ли от Прокофия...

Внезапно Генка смолк и уставился на девушку. Что-то незнакомое, манящее и хитроватое появилось в его глазах.

— Иди. Рулить научу, — напряжённым голосом позвал Генка. И Катя, робея, чего-то боясь, сиюсь остановить себя, двинулась на Генкин взгляд. Он посадил её рядом с собой на тесную скамейку, дал ей рукоятку и, полуобняв, прикрыл её руку своей и стал учить:

— Назад ручку потянешь, значит, лодка вправо носом. Вперёд ручку — влево носом. во-от так, во-от так, во-от та-а-ак. — Катя слышала Генкино дыхание на своей щеке, чувствовала, как напрягается и каменеет его рука, она хотела рвануться с беседки, оттолкнуть Генку, и никак не решалась. А когда наконец попробовала встать, Генка притиснул её к себе, стал искать

губами её губы. Совсем близко Катя увидела его глаза, охмелелые, застывшие в страхе и отчаянности.

— Гена! — испуганно прошептала она. — Генка, нельзя! Геннадий! — И упёрлась руками в его комковатую грудь. Грудь была твёрдая, напористая. — Гена...

— Ну, что ты... что ты... жинкой станешь... Я тебя люблю и уважаю.

Лодка качнулась, накренилась на левый борт и побежала от берега, забирая всё левей, левей. На середине реки она ударилась вниз по течению, плот догонять, потом ещё левей, ещё. Описала тёмный круг, другой, норовисто ринулась к берегу, подпрыгивая на своей же волне.

Растрёпанный и растерянный Генка прыгнул к рулю, выровнял ход лодки. Снова побежала лодка вдоль берега, тихого, песчаного, на котором стрелками целился в небо дикий лук. А возле кустов догорали цветы — жарки, топоршились метёлки травы — гусятника. И тоньше всяких роз пахла некорыстная с виду трава — кошачья лапка. А пароход и матка были уже там, где Енисей уходил в небо. И пароход, и матка, а точнее дом на матке тоже повисли в солнечном воздухе, и казалось, вовсе не двигались, а так вот, висели, и всё.

Катя лежала вниз лицом на горько пахнувших мешках и молчала, боясь поднять лицо. Всё-таки она пересилила Генку, всё-таки пересилила! Так и надо! Так и надо! Генка привык всё делать с налёта. Не должен он так делать. Не должен. Обязан он научиться хоть на шаг вперёд смотреть. А то идёт по жизни верхоглядом. Но как он сказал: «Жинкой станешь!» Генка Гуцин — муж! Чудно даже.

Генке Гущину-«мужу» было очень стыдно и неловко. Чтобы не смотреть на Катю, он задрал голову и увидел, что от реки к берегу с рыбёшкой в клюве летит чайка. Генка схватил ружьё и, почти не целясь, выстрелил. Чайка вскрикнула: «Криэ» и, как скомканный тетрадный лист, завертелась в воздухе, упала в воду, поплыла, волоча перебитое крыло. И всё стонала, вскрикивала чайка с недоумением и тоской: «Криэ, криэ»...

Генка догнал чайку, подчерпнул её рукой, словно клок пены, и бросил в лодку. Чайка смолкла, с беспомощным гневом глядела на человека. У неё был яркий, как цвет жарка, клюв. Такие же яркие лапы и круглые, с красноватым ободком глаза, какие бывают у рыбы сороги. Она поводила из стороны в сторону сорожьими глазами, и красные ободки то гасли, то вспыхивали.

— У-у, з-зараза, злая какая! — сощурился Генка и тронул чайку сапогом. Она вцепилась в носок сапога кривым, ярко-жёлтым клювом и захлопала здоровым крылом, будто била, боролась кого-то.

Генка схватил чайку за шею, вынул из-под сиденья гаечный ключ и стукнул её по голове. Она суматошно забила крыльями, попробовала крикнуть и выдула кровавую пену из клюва.

— Не смей!

Генка выронил ключ и чайку. Птица перекувыркивалась через голову, судорожно подлетала, кровавая лодку, мешки, весло. Катя пятилась к носу лодки до тех пор, пока не нащупала рукой багажник и пятиться стало некуда. Она не могла оторвать глаз от чайки, которая билась всё тише и реже.

Но вот дрожь пробежала по птице, она ещё раз открыла окровавленный клюв, а закрыть уже

не смогла, и вытянула лапы. Катя подняла голову. Генка, прищурившись, глядел на неё и надменно усмехался. Взгляд у него острый, и в этом взгляде ещё не угасла искорка, которая вспыхнула, когда он бил чайку по голове и ключ, казалось Кате, оглушительно щёлкал о череп птицы.

— Ах ты, душегуб! Ах ты, душегуб! — вдруг зарыдала Катя и упала на мешки, прижав к груди мёртвую чайку.

— Ну-ка, — грубо сказал Генка и, вырвав из Катиных рук птицу, швырнул её, как тряпку, в носовой багажник. Закрывая дверцу на деревянную вертушку, он буркнул: — Нежности телячьи! Платье всё перемазала.

— Душегуб! Душегуб! Душегуб! Что она тебе сделала? Что? — не унималась Катя, глядя на Генку потрясённо и яростно.

Генка ничего ей не ответил, пихнул ногой ружьё на мешки и полез в карман за папиросой. А Катя всё плакала и уже не ругалась, не кричала.

— Ну, будет, будет, — проворчал Генка, — виноват я, что ли? Сама на мушку летит.

Катя не отзывалась. Генка поёрзал на сиденье.

— Для домашности старался. Чайкиным крылом пол хорошо мести. И золу из печи тоже... законно.

Долго ждал Генка хоть какого-нибудь ответа или звука от Кати и, не дождавшись, крикнул:

— Ну, хочешь, выброшу я её? Мне, что ли, нужно?

Катя не отвечала, не шевелилась. Она лежала ничком на мешках. Спина её больше не вздрагивала.

— Если ты хочешь знать, птица эта вовсе вред-

ная, как ворона, только водяная. Она, знаешь, сколько рыбы сжирает? О-го-го! А знаешь, их тут сколько? Тыщи тыщ. Вон колхоз в старой Игарке по рыбе на десять процентов план выполнил. Мелочь-то пожрали эти ваши чаечки. Вот!

Но тут Генка что-то вспомнил и замолк. Может, он вспомнил, что в подтоварнике у него лежат стерлядки и костери, а это, между прочим, маленькие осетры костери-то, и поймал он их, между прочим, недозволенным образом. А таким образом в Игарке рыбу многие ловят, да и возле Игарки тоже. Давно ловят. Наверное, об этом и вспомнил Генка, а потому повысил голос:

— Вот они какие, чаечки-то ваши! Насочиняли про них песенок да стишков: «Белокрылая чайка, белокрылая чайка!» А она вовсе не белокрылая, а серокрылая. Это у неё только туша белая. Враньё всё!

Генка смолк потому, что начал-то он говорить сердито, на высокой ноте, а под конец голос его завял и вовсе виноватым сделался.

— Слышь, Катюха, не сердчай! Нечаянно я, чесслово, нечаянно. Ну хоть скажи что-нибудь? — гаркнул он, выплюнув за борт окурок. — Воспитывай, что ли! Ругайся! Я люблю, когда ты ругаешься.

Никакого ответа. Тогда Генка принялся ругаться сам:

— Да я чаек почти никогда и не трогаю. Утку, гуся — другое дело. А на эту погань и заряда жалко. Я уток за весну по сотне бивал. А что? Жалей уток-то, жалей! Птичка тоже, бедная, безвредная. А жрать чего будешь? Жрать-то вы все мастера? А добывать—кто? Охотники! Душегубы! А вы скушаете. Котлетки-то ешь, небось, в столовке. Из чего котлетки делают? Между прочим,

из коровы. За что же корову убивают? Всю жизнь её, сердешную, за дойки тягают. Деточек её молочком выкармливают, а как перестанет текчи молоко, нож ей в горло и на котлетки, ноги на студень, язык в ресторан, а там его поэты с шампанским срубают и ещё стих про чайку сочинят. Чувствительный народ.

— Не болтай! Замолчи! Не имеешь права! — поднялась Катя.

— Как это не имею? — поразился Генка. — Да я что, лишенец, что ли? Ты что думаешь, я уж в самом деле только на пакость гожусь. Я... Я вон учительницу у вербованных отбил. Ту самую, которой нервы в школе потратил. Да. Не веришь? Они у неё часы хотели снять, а я отбил. Они вон мне ножом в спину ширнули. А я матери сказал, что путь с причалов окорачивал и через забор биржи лез, и на ошепину наделся. Так и засохло. Тебе первой говорю... А ты... — уже с упрёком закончил Генка и попытался ещё что-нибудь такое, положительное вспомнить про себя. И не смог.

Похвальных грамот ему не давали, медалей тоже. Даже когда всех сряду наградили медалями «За доблестный труд» в военные годы, его обошли, потому что несовершеннолетним был и работал на бирже почти тайком, по слёзной просьбе матери. Мать уломала начальство, и его условно, без настоящего оформления приняли на укладку досок в штабели. Все руки в занозах были — старался от взрослых не отставать.

Вот только занозы и доставались ему, да ещё несколько раз в приказах отмечали по праздникам. Но тогда почти всех отмечали и везде так отмечают, и этим Катерину не удивишь. Она вон комсомолка, техникум окончила, людей модам

учит столичным и заграничным. А он её лапоть принялся, в слезу вбил этой чайкой. Недостоин он её. Уедет она. В гостиницу уже перешла жить и домой уедет, плюнет на такого дурака. И какой чёрт подсунул эту чайку? Летела бы стороной. Так нет, на ружьё прёт. Тут и не хотел бы, да стрелишь. И всю жизнь вот так. Мысли не держишь даже что-нибудь такое сделать, а оно всё равно делается.

Так думал Генка. А Катя всё не разговаривала с ним, но чувствовала: мается парень. И пусть мается, пусть. Легко живёт. С хохотком. Надо же научить его хоть немного задуматься, хоть на шаг, на два вперёд смотреть. Кто-то должен научить? Она? Сумеет ли? Пожалуй, не сумеет. Но она знает твёрдо лишь одно — Генка не должен так жить, чтобы знакомых у него было рой, а друга ни одного. А он от силы бесится. Не знает, куда её деть. Сегодня в чайку пальнул, завтра, может, и в человека пальнёт. Генка Гуцин всё может. От него что угодно жди. «Генка, Генка! Откуда ты свалился такой озорной и неудобный парень на мою голову? Ведь не бросишь тебя, из сердца так вот просто не выкинешь. Не из тех ты парней, которые легко и просто забываются».

Вздохнула Катя, подумала ещё, и давно зревшее решение, ещё с того дня, как они ходили с Генкой по причалам, стало твёрдым и необходимым.

Завтра же она пойдёт на эти причалы, отыщет старый английский пароход, который грузит бригада Кости Путинцева, с опережением графика, хотя и слабосильные лебёдки на британском корабле. Она поговорит с этим Костей. Она ещё посмотрит, что это за бригада, которая, двигаясь

вперёд, раскидывает на стороны, будто отходы, таких вот парней, как Генка Гущин. Она ещё докопается и узнает — соответствует ли эта бригада тому званию, которое носит. Костя Путинцев, стивидоры из его бригады должны знать, что высокое звание даётся не только за процент погрузки древесины, но и за процент ответственности: Да, да, ответственности за ту жизнь, которую они творят, и за того человека, который её творит вместе с ними. Неужели вот она, Катя, отвечает за себя и за людей только там, на швейной фабрике, в своём цехе, в своей бригаде? Нет, конечно, нет! И не должно быть так. Она — человек. А человек, где бы он ни был, в командировке, в отпуске, на работе, пусть хоть на луне — всегда ответствен за человека.

Лодка мчится по Енисею, почти наполовину поднявшись над водой. По сторонам разлетается вспененная вода. Ревёт мотор. Вдали гостеприимно открывается устье Губинской протоки с чашей корабельных мачт. Видны трубы лесозавода на бирже и низкодомный деревянный город на берегу, в котором часто случаются пожары. А под окнами домов растёт картошка. Но только в других городах рядом с огородами не синееет ягода голубика, не накаляется под солнцем морошка, не доцветает пахучий багульник, не кудрявятся мелколистые карликовые берёзки, не стреляет крошечными облачками трава пушица.

Лодка спешит к городу, потому что поднимается ветер север. Ветер пока ещё пробует силу. Прилетит резкий, тугой порыв, сморщит реку, поднимет столбики сухого песка, палый лист тальника, бросит всё это в воду либо на камни, а потом усмирится на минуту, подумает и опять дунет.

Не торопясь, степенно, по-хозяйски расходится северный ветер, но бушует иной раз суток по шести.

И не останется тогда на небе ни одной тучки, ни одного облачка. И песок уже не будет кружиться, и палая листва тоже, и утки улетят с Енисея на озёра отсиживаться и пережидать непогоду.

Деревья, кусты, каждый цветок, каждая травинка склонятся под ветром, прижмутся к земле. Всё разнесёт и усмирит северный ветер. Только чайки с ликующими криками станут кружиться над волнами, пересиливая ветер, да дикий лук будет всё так же упрямо целиться набухающими стрелками в небо, и на каждой стрелочке будет долго-долго дрожать клейкая капля, налитая горьким, луковым соком.

Даже северный ветер не сломит стебли лука, не выдернет из скудной прибрежной почвы, не собьёт с них липкие капли.

У дикого лука цепкий корень, живучий корень.

Виктор Петрович Астафьев

ДИКИЙ ЛУК

Редактор *С. М. Гинц*. Художник *В. С. Измайлов*. Художественный редактор *М. В. Тарасова*. Технический редактор *К. Г. Сукмонова*. Корректор *И. Л. Пархомовская*.



Сдано в набор 26|IV 1961 г.
Подписано к печ. 21|IX 1961 г.
Бумага 84×108¹/₂ 0,625 б. л.
1,25 п. л. (усл. прив. 2,05)
Уч.-изд. 1,5.
ЛБ00063. Тираж 50000 экз.
Цена 5 к.



2-я книжная типография
облполиграфиздата. Пермь,
ул. Коммунистическая, 57.
Зак. 1051.

**КНИГИ ПЕРМСКОГО КНИЖНОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА
СЕРИЯ «РАССКАЗЫ О СОВЕТСКИХ ЛЮДЯХ»**

Вышли из печати:

- В. Астафьев.** Сибиряк. 26 стр., 3 коп.
- Н. Вагнер.** Васёк. 16 стр., 4 коп.
- О. Маркова.** Жена. 22 стр., 3 коп.
- О. Маркова.** Шест у двора. 39 стр., 5 коп.
- М. Моценок.** Мать-бригадирша. 16 стр., 4 коп.
- Л. Поляков.** Синее безмолвие. 21 стр., 5 коп.
- Л. Правдин.** Мы строим дом. 62 стр., 8 коп.
- Л. Правдин.** На восходе солнца. 35 стр., 6 коп.
- А. Ромашов.** Невеста. 20 стр., 3 коп.
- О. Селянкин.** Злыдень. 37 стр., 5 коп.
- О. Селянкин.** Маяк победы. 24 стр., 4 коп.
- А. Черкасов.** Пламя свечи. 19 стр., 4 коп.
- В. Черненко.** Тучи и небо. 17 стр., 3 коп.
- В. Черненко.** Характер курносой девчонки. 14 стр. 2 коп.
- А. Шибанов.** Первый пациент. 18 стр., 4 коп.

Выходят из печати:

- В. Астафьев.** Рассказ о любви.
- В. Волосков.** Сыч.
- З. Ерошкина.** В семье.
- П. Журавлёв.** Маша.
- О. Маркова.** Самые обыкновенные.
- Л. Молчанова.** Белый аист.
- Л. Правдин.** Мальвы цветут.

5 коп.

Т е р м с к о е

КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

1 9 6 1